

Равиль
Бухараев

Письма
в другую
комнату
*зерцало
молчания*

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6-4
Б 94

Бухараев Р.
Б 94 Письма в другую комнату / Р. Бухараев. — СПб.: Алетейя, 2011. — 224 с.: ил. — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы).

ISBN 978-5-91419-514-1

Книга «Письма в другую комнату» с посылкой для автора честностью рассказывает о том, что порою скрывается за мужским молчанием. Эта книга — попытка объяснить с близким человеком, что бывает особенно трудно в силу непременного и обязательного условия такой беседы — полной искренности, которой так трагически не хватает в нашей повседневности.

УДК 821.161.1
ББК 84(2)6-4

В книге использованы работы художника
Искандер Нугманов (DERIC)

ISBN 978-5-91419-514-1



© Р. Бухараев, 2011
© И. Нугманов (DERIC), иллюстрации, 2011
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011
© «Алетейя. Историческая книга», 2011

І. ДЕСЯТЬ МИНУТ ОДИНОЧЕСТВА

«В Англии наконец происходит весна: так ли нечто должно всегда происходить и свершаться в душе?», — меланхолично записал бы я золотым паркеровским пером на белоснежной манжете, будь я в то раздумчивое мгновение марта безупречно одетым вечерним джентльменом хоть бы и из старинного лондонского клуба «Атенеум» — словом, если б я был человеческим существованием из тех, что ритуально препровождают положенное время в глубоких зеленокожаных креслах, в них же пьют принесенный белофрачным официантом, но отвратительно заваренный, желтоватый и еле теплый грушевый чай, и в промежутках между беседами листают газеты.

Лестно, конечно, попасть в «Атенеум», но в антикварных вещах времени я разбираюсь крайне недостаточно и предпочитаю им более непритязательные лавки древностей, а галстучными бабочками и теми единственными золотыми запонками, на которых печатка с татарским гербом, щеголяю крайне редко: этого мало на ярмарке мирских тщеславий. К тому же и уверенная размеренность жизни оказалась никак не суждена мне, а мелочное скопидомство наблюдений и заметок, сей признак возраста, не нуждается еще в записях на манжетах. Хватает пока и скоротечной памяти, в которой среди прочего засел и филигранный экспромт некогда главного здесь законодателя мод и мыслей, ирландца Оскара Уайльда: «все мы сидим в канаве, но некоторые из нас при этом глядят в небеса».

Полагают также, что для того, чтобы не попросту выглядеть, а именно что быть записным джентльменом, нужно и родиться в тройке с бабочкой и с младых ногтей поселиться в костюме, иначе выйдет и получится очередной маскарад: при всей мирской необходимости оно-го совсем уж чужие маски плохо сидят на моем лице и легко соскальзывают, тем более, что самое трудное, как оказалось, — это быть тем, кто ты есть, и не опасаться последствий.

Да и вообще, подспудное желание не выглядеть, а быть джентльменом, если копнуть поглубже, есть простое и неубитое жизнью стремление быть, а не казаться всего лишь благородным человеком, а по этому поводу еще Конфуций заметил, что, мол, «человек истинно благородный не сокрушается о том, что его достоинства остаются незамеченными; его куда больше заботят собственные несовершенства».

Забавно, что это повествование, сокровенная композиция которого приуготовила автору столько неизбывных совестных терзаний, само собой началось с накрахмаленных манжет и праздных рассуждений об одежде, столь несвойственных мне, как и большинству мужчин. Что же сбило меня с пути, а заодно и с панталыку – уж не та ли театральная процессия на Старолуговой набережной Карловых Вар, когда мимо сидящих на открытых террасах кафе разночинцев и простолудинок шли и шли к мелкомощному променаду у Мельничной Колоннады молодые и не очень молодые, но, надо думать, воистину родовитые аристократы и аристократки Старого Света?

Прохожие дивились и судили эту голубую кровь по одежке от куртье, всем этим зеленобархатным фракам, белым и черным смокингам, бальным платьям всех оттенков красного от барбадосской зари до синайского заката; по шелковым ниспадающим плащам и пелеринам, по дамским перчаткам по локоть и бисерным кисетным сумочкам, а также и недоступно дорогим туфлям, и тростям с серебряными и костяными набалдашниками.

Пятый съезд европейской шляхты проводил в тот вечер у Мельничной Колоннады затейливый Праздник Вампиров: я и этого, как ты знаешь, не выдумал, – так и называлось это вполне документальное событие, завершившееся во тьме россыпями огнецветного фейрверка над Замковой башней и заполночными хмельными криками и разночинным смехом под нашим кованым, в завитках, балконом четвертого этажа, откуда ежедневно предстал мне супротивный, древний, но прелестно отделанный заново дом под названием «Zum Rotengartenbaum», цветная его эмблема под самою крышей – изразцовый овал с изображеньем зелени апельсинового деревца с округлыми закатными плодами и – внизу, посередине крошечной Старорыночной площади Карлсбада – гранитный, раннего барокко, Чумной памятник во славу Пресвятой Троицы.

На следующий день бароны и баронессы, маркизы, кронпринцы, графы-графини и светлейшие князья со своими княгинями, все эти

вальдштейны, туны, лихновские и эстерхази, у чьих богатых и влиятельных предков искали места и хлеба насущного Бетховен и Моцарт, гуськом устремлялись уже против течения Теплы, на иное мероприятие, имевшее быть в старинной, ампирной, но едва подремонтированной Императорской Лечебнице, и снова тщательная безупречность одежд, непременно потребовавшая от каждого участника, а паче участницы этого действа предельной вдумчивости и неразделенного внимания, вызывала в прохожих всякие мысли, безвариантно сводящиеся к оценке условий и обстоятельств как чужой, так и собственной судьбы.

Да и то – это был настоящий парад неведомой большинству жизни, внезапно вторгшейся с лакированных страниц светской фотохроники в повседневности курортного быта, и люди, со внимательным любопытством взирающие на эту радужную наружность бытия и смакующие заслуженный трудами и болезнями кофе со сливками в златораморном кафе «Элефант», были в огромном большинстве своем те же самые, которые без какой-нибудь особенной вдумчивости ежедневно проходили мимо домов, где опять-таки жили на этих водах Бетховен, Батюшков, Гоголь, Гете, именно Гете, – вовсе и не сознавая, что эти вечно происходящие данности Карловых Вар могли бы дать оставшейся в них детской любознательности много, много больше...

– и эта зеленая с золотом бюргерская гостиница «Моцарт», ранее именованная «Три алые розы», и неприметный ныне за недостатком состоятельных владельцев, несколько даже бурый дом под названием «Белый заяц» с двумя горельефными заячьими медальонами на фронтоне, и жемчужно-желтый особняк «Три мавра», что на Старорыночной площади недалеко от Чумного монумента, а на этом до сих пор сохранились три причудливых толстогубых негритянских барельефа, о том уже не говоря, что между классических высоких окон третьего этажа наличествует там чуть аляповатая, зелено-розово-фиолетовая лепнина в виде помещенных в золотые рога изобилия и оплывающих в духе Дали померанцевых, сиречь апельсиновых деревьев, виноградных лоз и пластично цветущих кустов, что выглядело бы вовсе безвкусным, когда бы не было так заманчиво и прекрасно, и не вызывало в воображении столь многого из того, что всегда искушает и блазнит душу происходящей без остановки подлинностью и, единожды начавшись в детстве, так и не завершается никогда.

Если же дать малейшую волю этой сокровенной тяге к подлинности, то среди сезонных посетителей Карлсбада, будь они платными гостями хоть из Минусинска, хоть из Лихтенштейна и Монако, среди всех зримых и кажущихся миражей и иллюзий жизни, царствующих над прогуливающейся толпой, как башенный отель «Империял» царствует со своей вершины над остальными гостиницами и пансионатами лечебных вод, вдруг узрится — хоть на мгновение, хоть на секунду! — реальная, как тронутые первой зеленью и весенней желтизной горные леса, подлинная, как вымоленное предельным усилием сердца осознание Аллаха, и действительная, как совестливая память, — Жизнь, ради ощущения которой и воссуществует для прозревшей души все остальное...

Узрится, стало быть, и не только узрится, но и обоймет звуками, запахами и осязательными чувствами непреходящая и всегда возможная жизнь, в которой время и его, времени, условности не имеют никакого уже значения, — и в которой Иоганн Вольфганг фон Гете — не различить еще, 1812 или 1820 года существования, идет в долгополом темносером сюртуке и белоснежной полотняной рубашке с шейным платком по своей обычной тропе вдоль нежно-журчащей, как сам воздух над нею, струящей по течению дуновенья цветущих черемух, темно-прозрачной речки Теплы, под нависающими с горного склона деревьями,

— идет себе, попив карлсбадской водички и направляясь для мочина в ясеневую, буковую, липяную и кленовую елань — межгорный распадок у Почтового Двора, то и дело встречая на пути самого себя, несколько моложе и вовсе молодого, из 1786 или 1791 года; полагая такое дело самообычным и само собой разумеющимся, и степенно, как, должно быть, и свойственно аристократии духа, размышляя над чем-то глубоко и сокровенно личным —

— а я вот, замечаю, по неизжитой в юности простонародной, не сказать плебейской спешке и всегда действующей в ущерб необходимым словам жадности к тому, что именно теперь вот и кажется важным, опять забежал вперед по силовым линиям и расходящимся спиралям своего ограниченного временем и пространством повествования, за что и сам с удовольствием дал бы себе указкой по рукам, как пепельно-седой ментор, каким я, верно, и сам уже кажусь кому-то, — себе самому зарвавшемуся ученику, еще не отработавшему во всей честности положенных гамм, а уже поку-